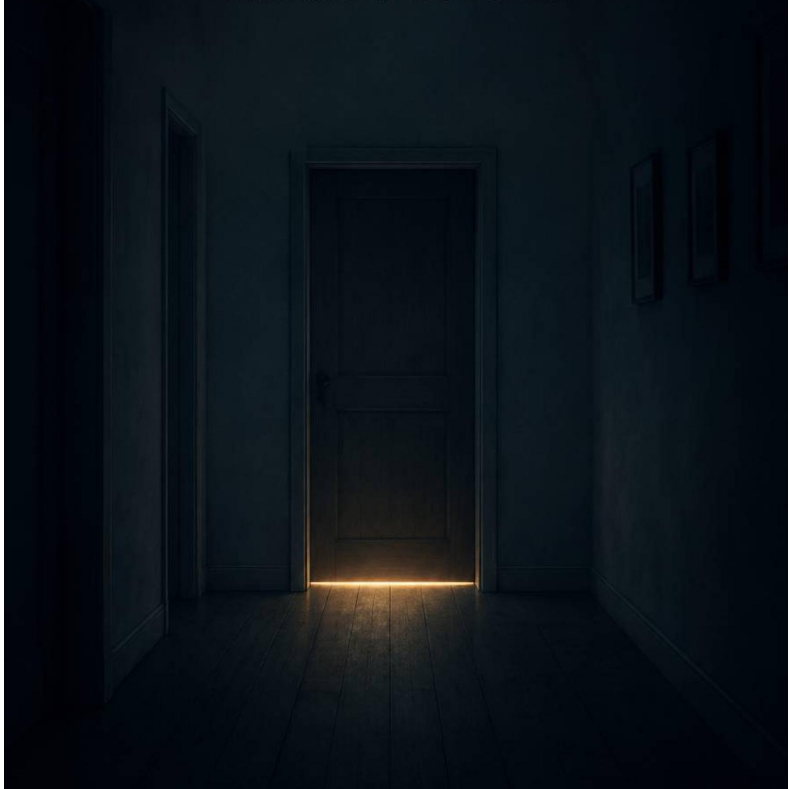


THE STORY

NARRIUM STORIES



Narrium Stories

Nathan Reed

The story

<https://litres.ru/74083879>

SelfPub; 2026

Аннотация

Дэниел Корд привык быть человеком, на которого можно опереться. Школьный завуч, муж, отец — он всегда знает правильные слова и никогда не позволяет себе слабость.

Но однажды в его портфеле появляется тетрадь. В ней записаны события, которых ещё не было.

Пытаясь понять, кто написал эти страницы, Дэниел сталкивается не с тайной будущего, а с собственной жизнью — с дочерью, от которой он отдалился, с друзьями, которых не сумел услышать, и с выбором, сделанным много лет назад.

История о человеке, который всю жизнь был чужой опорой, — и о том, что остаётся, когда опора впервые даёт трещину.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Nathan Reed, Narrium Stories

The story

Глава 1

Телефон зазвонил в 7:14, когда Дэниел Корд ещё стоял в прихожей с одной рукой в рукаве пальто. Он посмотрел на экран, увидел имя школьного психолога и снял пальто обратно. Он уже знал по тому, что она звонит так рано, что день будет длинный, и что домой он вернётся затемно, и что Клэр оставит ему ужин в духовке и записку о том, что разогреть.

— Мальчик Гаррети, — сказала психолог вместо «здравствуйте». — Он не пришёл вчера, не пришёл сегодня, мать не берёт трубку, и я не знаю, Дэниел, я правда не знаю.

— Я знаю, — сказал Дэниел.

Это была первая фраза, которую он произносил каждое утро много лет, и она почти всегда была неправдой, и почти всегда работала. Он услышал, как на том конце психолог выдохнула — медленно, как выдыхают, когда кто-то наконец взял вес на себя. Он привык к этому звуку. Он не помнил, когда люди начали так выдыхать рядом с ним, но это случилось давно, и с тех пор не прекращалось.

— Я заеду к ним по дороге, — сказал он. — Дайте мне адрес ещё раз и не звоните пока в опеку. Если в девять я не

напишу — звоните.

Он записал адрес на обороте конверта, лежавшего у вазы с ключами. Рука была ровная. Он давно заметил, что у него ровная рука в такие минуты, ровнее, чем когда он подписывал поздравительные открытки, и когда-то это его удивляло, а теперь нет.

Из кухни вышла Клэр, в халате, с двумя чашками, и увидела пальто на крючке и конверт в его руке.

— Сегодня? — спросила она. Не «что случилось». За шестнадцать лет она перестала спрашивать «что случилось». Она спрашивала «сегодня?» — и в этом одном слове было всё: значит, ты уезжаешь раньше, значит, я не знаю, когда ты вернёшься, значит, опять кто-то падает и опять ты внизу с раскрытыми руками.

— Ничего страшного, — сказал Дэниел. — Мальчик прогуливает. Я съезжу посмотрю.

Это тоже было неправдой, мягкой, домашней неправдой, которую он клал ей в руки каждое утро, как клал сахар в её кофе, не спрашивая, два или один, потому что знал, что два. Клэр кивнула и отдала ему чашку, и он сделал один глоток стоя, обжёгся, и поставил чашку на тумбу недопитой. Она будет стоять там весь день. Вечером он её вымоет.

— Ты поел? — спросила Клэр.

— Поел, — сказал он, не поев.

Дом Гаррети стоял в конце улицы, где асфальт переходил в гравий, и где у заборов лежал снег, серый от дороги. Дэни-

ел постучал, потом постучал ещё, потом сел на ступеньку крыльца, чтобы его было видно из окна, и стал ждать. Он умел ждать на чужих крыльцах. Это была часть работы, о которой не писали в должностной инструкции, — уметь сидеть так, чтобы человек за занавеской понял, что ты не уйдёшь, и что ты не злишься, и что тебе некуда спешить, даже когда тебе есть куда спешить.

Через двадцать минут дверь открылась. Мать стояла в проёме, держась за косяк, и по тому, как она держалась, Дэниел понял всё про вчерашний вечер, и про позавчерашний, и про то, почему мальчик не идёт в школу. Он не изменился в лице. Он давно научился не менять лицо. Лицо, которое не меняется, — это первое, что нужно человеку, который ждёт, что ты сейчас отшатнёшься.

— Здравствуйте, — сказал Дэниел. — Я из школы. Я не из опеки и не из полиции. Можно я зайду на минуту, я замёрз на вашем крыльце.

Это была маленькая хитрость — попросить так, будто это ему нужна помощь, будто это он замёрз и просится в тепло, а не она тонет и он пришёл вытаскивать. Люди впускают того, кому холодно. Они не впускают того, кто пришёл их спасти. Дэниел знал эту разницу так глубоко, что уже не считал её хитростью. Он считал это просто тем, как открываются двери.

Мальчик сидел на кухне над миской с разбухшими хлопьями. Худой, с тем взглядом, который Дэниел узнавал из

тысячи, — взгляд человека, который уже решил про себя что-то окончательное и теперь просто ждёт, когда мир это подтвердит. Дэниел сел напротив, не близко, и не стал спрашивать, почему тот не в школе. Он спросил, доел ли тот, и можно ли ему тоже хлопьев, потому что он не успел позавтракать.

Мальчик посмотрел на него. Впервые за всё время — посмотрел прямо.

— Вы серьёзно? — сказал он.

— Серьёзно, — сказал Дэниел. — Я с шести на ногах.

Мальчик встал, достал вторую миску, и эта вторая миска была уже половиной дела, хотя ни мальчик, ни его мать этого не знали, а Дэниел знал, и не подал виду, потому что подать вид — значило всё испортить.

В школу он привёз мальчика к одиннадцати, договорился с психологом, написал, кому надо, не написал, кому не надо, и к полудню сидел у себя в кабинете, где на столе ждали три стопки бумаг и список из одиннадцати человек, которым нужно было перезвонить. Он перезвонил девятерым. С десятым — учителем, у которого разваливался класс и, кажется, не только класс, — он проговорил сорок минут, и под конец услышал в трубке тот самый выдох, медленный, освобождённый, и положил трубку, и минуту сидел неподвижно, глядя в окно на школьный двор, где никого не было, кроме ветра.

Он не думал в эту минуту ни о чём. Это было его умение

и его отдых — не думать ни о чём в минуты между чужими тяжестями. Он сидел пустой, и это было хорошо, и это было единственное время за день, когда ему было хорошо, хотя он не назвал бы это словом «хорошо» и вообще никак бы это не назвал.

Одиннадцатому он не перезвонил. Он посмотрел на имя, и отложил, и сказал себе, что перезвонит завтра, и оба эти движения — посмотреть и отложить — он сделал, не задерживаясь, потому что задержаться значило бы заметить, что он откладывает, а он не хотел замечать.

Домой он вернулся в половине девятого. В духовке стоял ужин, на столе лежала записка — «180 градусов, 15 минут, не больше», — и Дэниел прочитал её и улыбнулся почерку Клэр, круглому, с петлями, который не изменился за шестнадцать лет, как не изменилась она сама в том, в чём он на неё опирался, хотя оба они менялись во всём остальном.

Айла была у себя; из-под двери шла полоса синего света от экрана и не шло ни звука. Он постоял у её двери, поднял руку постучать, и не постучал, и пошёл на кухню. Он не помнил, когда перестал стучать в её дверь. Это случилось постепенно, как всё важное в его доме случалось постепенно, без единого дня, на который можно было бы показать пальцем.

Он поел стоя, у плиты, прямо из формы, хотя Клэр не любила, когда он так делал. Клэр уже спала или делала вид, что спит, — в их доме оба умели делать вид, что спят, и оба умели не проверять, спит ли другой. Дэниел вымыл форму, вы-

мыл свою утреннюю чашку, всё ещё стоявшую на тумбе, вытер руки и пошёл к портфелю, чтобы достать бумаги, которые принёс доделать.

Портфель он оставлял всегда на одном и том же стуле, и расстёгивал всегда на одно и то же движение, и доставал бумаги, не глядя, потому что знал, что и где лежит. В этот раз рука наткнулась на что-то, чего там быть не должно. Не папка. Не книга. Тетрадь — обычная, в твёрдой обложке, какие продают в любом киоске, потёртая по углам, словно её долго носили.

Дэниел достал её и положил на стол. Он не клал её в портфель. Он помнил всё, что клал в портфель, — это была часть его, помнить, что у него где лежит, — и этой тетради он туда не клал.

Он открыл её.

Почерк был его.

Не похожий на его. Его. С тем же наклоном, с той же манерой не дописывать петли у «д», с тем же нажимом, который продавливал бумагу так, что строчки можно было прочесть с обратной стороны листа. Он переворачивал страницы всё быстрее, и страницы были полны — даты, дни, годы, его дни, описанные изнутри, не так, как их видели другие, а так, как их видел только он сам.

Он остановился на последней исписанной странице. Сегодняшнее число. И под ним — про мальчика Гаррети, про вторую миску хлопьев, про то, как он сел на крыльцо, чтобы

его было видно из окна. Про то, чего он не рассказывал сегодня никому. Про то, что он сделал, когда был один на чужом крыльце и думал, что его никто не видит.

Глава 2

Хорошо, сказал себе Дэниел. Давайте разберёмся.

Он закрыл тетрадь и положил ладонь на обложку, как клал ладонь на стол в кабинете перед трудным разговором, и подумал по порядку, как привык думать по порядку. У него был метод. Когда что-то не сходилось — ребёнок исчезал, мать не брала трубку, в журнале не билась цифра, — он не спрашивал «как это возможно». Он спрашивал «кто, когда и зачем». Три вопроса. С них всё всегда распутывалось Кто. Портфель стоял в учительской половину дня. Он стоял дома вечером. Кабинет не запирался на обед. Список людей, имевших к портфелю доступ за сегодня, был длинным, и это было хорошо, длинный список — это уже не загадка, а просто работа. Уборщица. Двое из административного крыла. Психолог, заходившая к нему в полдень. Любой родитель, ждавший в коридоре. Он мысленно вёл этот список и чувствовал, как возвращается почва: список можно проверить, список можно сократить, список имеет конец.

Когда. Тетрадь была потёртой по углам — значит, её делали не сегодня. Её носили, может быть, неделями. Значит, кто-то готовил это заранее, долго, и только сегодня подложил. Это сужало круг: случайный человек так не делает. Это делает тот, кто знает его близко и копил.

Зачем. Вот здесь он остановился. На «зачем» он всегда

останавливался дольше всего, потому что «зачем» было про людей, а люди были его работой. Кому нужно, чтобы Дэниел Корд решил, будто кто-то ведёт о нём дневник его рукой? Напугать. Выбить из колеи. Месть — но за что, и чья. Он перебирал лица, как перебирал ключи на кольце, на ощупь, не глядя, и ни один ключ не подходил к этой двери, и это его не встревожило. Не подходит сейчас — подойдёт к утру. Он встал, налил воды, выпил полстакана и поставил стакан на стол.

Почерк.

Он снова открыл тетрадь и поднёс лампу ближе. Вот где была настоящая работа. Подделать почерк целой тетради — это не подпись подделать. Это сотни страниц. Это либо машина, либо человек, у которого были его образцы, много, годами. Он всматривался в наклон, в то, как обрывались петли у «д», в нажим. Он знал свой почерк хуже, чем думал, — кто из нас знает свой почерк, мы его не читаем, мы им пишем, — и сейчас, вглядываясь, он ловил себя на странном: почерк был не просто похож. Он был знаком той изнаночной знакомостью, от которой отшатываешься, — знакомостью себя, увиденного снаружи.

Он перечитал строчку про крыльцо. Потом перечитал её ещё раз. Он не заметил, что перечитал дважды.

Версия первая, самая чистая: кто-то с доступом к его записям — старым отчётам, заметкам, спискам — годами собирал его почерк, отдал специалисту, тот воспроизвёл. Воз-

можно. Дорого, сложно, странно, но возможно. Дэниел любил эту версию. Она была решаема. Он мысленно поставил её первой и почувствовал почти облегчение, то рабочее облегчение, какое приходило, когда в хаосе намечался первый твёрдый край.

Но строчка про крыльцо.

Подделать почерк — можно. Собрать факты его дня — труднее, но можно: за ним могли следить, кто-то мог видеть, как он сидел на ступеньке у Гаррети, кто-то мог знать про мальчика. Город маленький. Люди говорят. Это всё ещё версия. Это всё ещё работа.

А вот то, что было написано после слов про крыльцо, — про то, что он сделал, когда думал, что его никто не видит, — этого не видел никто. Он был уверен в этом так, как был уверен в немногом. Он проверил эту уверенность тем же методом: кто мог видеть. Окно дома Гаррети выходило на крыльцо? Нет, окно было сбоку. Машина на улице? Он бы заметил машину, он замечал машины. Камера? На той улице, где асфальт переходит в гравий, не было камер, там и фонаря-то не было.

Он сидел и держал в голове две вещи разом: версию, которая всё объясняла, и одну строчку, которую версия не покрывала. И вместо того чтобы тревожиться, он делал то, что делал всегда, — искал третью вещь, которая свяжет первые две. Должна быть третья вещь. Всегда есть третья вещь. Он встал, чтобы принести из прихожей конверт с адресом Гар-

рети, зачем — он не смог бы объяснить, просто рукам нужно было что-то делать, пока голова работала.

В прихожей он включил свет, взял конверт, вернулся. Свет в прихожей он оставил гореть.

Он сел снова и стал выписывать на полях блокнота — не тетради, своего рабочего блокнота — всех, кто за последние годы мог иметь доступ и мотив. Список рос. Он писал быстро, мелко, и почерк в блокноте был тот же самый, что в тетради, и это было нормально, это был его почерк, но рука вдруг показалась ему чужой на секунду, и он перестал писать, посмотрел на свою руку, не понял, что смотрит, и стал писать дальше.

К полуночи у него было одиннадцать имён, и ни одно не объясняло строчку про крыльцо.

Одиннадцать. Он отметил про себя число и не задержался на нём.

Он отодвинул блокнот, потёр глаза. Усталость была обычная, рабочая, и в ней было даже что-то успокаивающее: усталость означала, что он работал, а работа означала, что это задача, а задача означала, что у неё есть решение, которое он просто пока не нашёл. Он почти убедил себя. Он был хорош в том, чтобы себя убеждать, — это была обратная сторона умения убеждать других, и он редко поворачивал это умение на себя, но сейчас повернул, и оно работало.

Он закрыл тетрадь. Положил поверх неё блокнот. Положил поверх блокнота ладонь. И в этой позе — ладонь на двух

тетрадах, своей и не своей, — он просидел дольше, чем собирался, глядя не на стол, а сквозь него.

Тогда он сделал то, что делал всегда, когда задача не решалась к ночи: отложил до утра. Утром голова свежая, утром список сократится, утром найдётся третья вещь. Он встал, выключил лампу. Ящик стола, куда он сунул тетрадь, он задвинул не до конца, но не заметил этого. Ящик остался приоткрытым на палец, и в темноте кабинета это была единственная неровность — узкая чёрная щель там, где всегда была ровная линия.

Он поднялся наверх. У двери Айлы синяя полоса под дверью погасла — значит, уснула, или выключила свет, чтобы он думал, что уснула. Он постоял. Поднял руку. И опустил, не постучав, как опускал каждый вечер.

В спальне Клэр лежала к стене. Он лёг рядом, поверх одеяла, не раздеваясь до конца, как ложился, когда знал, что не уснёт. Он лежал и думал не о тетради. Он думал о том, что забыл что-то сделать, какое-то маленькое вечернее дело из тех, что он делал не думая, и не мог вспомнить, какое, и это мелкое незакрытое дело свербило сильнее, чем тетрадь, потому что тетрадь была загадкой, а это было непорядком, а непорядка в своём доме он не терпел.

Внизу, в пустой прихожей, всю ночь горел оставленный им свет.

Глава 3

Утром тетрадь лежала в приоткрытом ящике, и Дэниел, одеваясь, открыл его до конца, достал её и прочитал верхнюю строчку новой страницы, которой вчера не дочитал. Там было написано про среду. Про то, что в среду заплачет человек, который никогда при нём не плакал. Дэниел закрыл тетрадь, задвинул ящик — на этот раз до конца, машинально, не отметив вчерашней оплошности, — и пошёл вниз, потому что была среда, и среда была обычным днём, и у него было одиннадцать дел до полудня, и плачущие люди были его работой, и кто-нибудь да заплачет, люди плачут, в этом не было ничего.

Он забыл про строчку к тому времени, как закипел чайник.

Маркус Делл поймал его в коридоре до первого урока, и Дэниел по тому, как Маркус держал стопку тетрадей — прижав к груди обеими руками, как держат не тетради, а что-то, что может выпасть из самого человека, — понял, что разговор будет не про тетради.

— У тебя есть минута? — спросил Маркус. — Хотя нет. У тебя нет минуты. У тебя никогда нет минуты, и ты всё равно её находишь, и я не понимаю, как ты это делаешь.

— Есть минута, — сказал Дэниел.

Они вышли на лестничную площадку, где курили два-

дцать лет назад, когда оба были моложе и когда Маркус ещё смеялся тем смехом, который Дэниел давно не слышал. Маркус поставил тетради на подоконник и посмотрел в окно, на тот же пустой двор, и заговорил не сразу.

— Лена забрала младшего к матери, — сказал он. — На время, говорит. Я знаю, что значит «на время». Я сам говорил «на время», когда уходил из аспирантуры. На время — это насовсем, просто медленно.

Дэниел молчал. Он умел молчать так, что молчание было не пустым, а открытым, как открывают дверь и отходят, чтобы человек сам решил, входить или нет.

— Я смотрю на тебя, — сказал Маркус, и впервые повернулся к нему, — и думаю: вот человек, у которого всё держится. Дом держится, дочь держится, школа на нём держится, полгорода на нём держится. И я думаю: если у Дэниела держится, значит, это вообще возможно. Значит, человек способен. А потом я прихожу домой, а там половина шкафа пустая, и я думаю: а я, выходит, не способен. И вот это, Дэн, вот это самое тяжёлое. Не то, что она ушла. А то, что ты можешь, а я нет.

И здесь Дэниел сделал то, что делал всегда. Он сказал спокойно и тепло, что у Маркуса всё держится больше, чем тому кажется, что дети возвращаются, что Лена вернётся, что нужно просто пережить эту неделю, потом следующую, по одной, и что он, Дэниел, рядом. Каждое слово было правильным. Маркус слушал, и кивал, и в конце выдохнул — тот са-

мый медленный выдох, — и сказал «спасибо, ты не представляешь», и забрал тетради с подоконника, и пошёл на урок чуть прямее, чем пришёл.

Дэниел смотрел ему вслед и не чувствовал ничего, кроме привычного: дело сделано, человек идёт прямее. Он не заметил — а если бы заметил, не признал бы, — что не сказал Маркусу ни одного слова правды. Что у него самого половина дома давно пустая, только шкафы стоят полные. Что «способен» — это не про него. Что он дал Маркусу опереться на то, чего нет. Маркус ушёл, неся в себе образ Дэниела, который держится, и этот образ держал теперь Маркуса, и Дэниел только что подлил в него ещё немного.

Тео он увидел из окна кабинета — мальчик стоял у дальнего конца двора, один, как стоят не от того, что хочется одному, а от того, что больше нигде. К нему подошли двое, и Дэниел знал этих двоих, и знал, как это бывает, и встал, чтобы спуститься, но к тому времени, как он надел пиджак, двое уже ушли, а Тео остался стоять, и поднял с земли то, что они бросили, — кажется, его собственную шапку, — и отряхнул, и не надел, а сунул в карман, и Дэниелу это движение, то, как мальчик отряхнул и не надел, сказало больше, чем сказал бы час разговора.

Он не пошёл вниз. Он сказал себе, что подойдёт позже, мягче, когда мальчик не будет знать, что за ним наблюдали с третьего этажа, потому что подойти сейчас — значит показать Тео, что его унижение видели сверху, а этого нельзя.

Это было правдой. И это было удобной правдой, потому что позволяло не идти сейчас. Дэниел стоял у окна и смотрел на мальчика, и узнавал в нём что-то так точно, что отвернулся первым — раньше, чем Тео мог бы поднять голову и увидеть в окне взрослого, который смотрит и не идёт.

Он сел работать. Имя Тео он записал в список тех, к кому надо подойти. Список был длинный. Имя Тео было в нём не первым.

Айла позвонила в четыре, чего не делала никогда, и Дэниел увидел её имя на экране и почувствовал короткий укол — не радости, тревоги, потому что дочь, которая не звонит, звонит только если что-то.

— Пап, — сказала Айла. — Ты можешь забрать меня. Не от школы. От Миной.

— Что случилось?

— Ничего. — Пауза. — Просто забери.

Он поехал. Дом Мины был на другом конце города, и Айла ждала на улице, хотя было холодно, ждала снаружи, а не внутри, и это «снаружи» сказало Дэниелу, что внутри что-то кончилось. Она села в машину, не глядя на него, пристегнулась, и они поехали, и она молчала, и он молчал, и он умел молчать, но с ней его умение почему-то не работало так, как с чужими, — с чужими молчание открывало дверь, а с дочерью оно её закрывало, и он не понимал, в чём разница, и это было единственное, чего он за всю жизнь так и не научился делать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.